

Николай Васильевич Гоголь

Статьи «О Современнике»

и др.



Николай Гоголь
Статьи «О Современнике» и др.

«Public Domain»

Гоголь Н. В.

Статьи «О Современнике» и др. / Н. В. Гоголь — «Public Domain»,

«Наконец поговорю с тобой о Современнике. Современник вышел плохим журналом, несмотря на прекрасную цель, которую ты имел в виду. Даже эта самая прекрасная цель, во имя которой ты предпринял его, не обнаружилась никому очевидно и ясно из самого журнала; напротив, всяк спрашивал в недоумении друг у друга: «Объясните мне, зачем и для чего издает Плетнев свой журнал? что хочет он сказать им? что значат эти общие места в его программе, эти повторения о беспристрастии, о бескорыстной любви к искусству, о стремлении к истине и т. п., которые обещает всякой журналист и которых не исполняет никто?» Тощее содержание его тоненьких книжек, не живой, безучастный, вялый и неопределенный слог его суждений обо всем современном задавал только загадку решать: зачем он назван Современником...»

Содержание

О современнике	5
«Авторская исповедь»	11
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Николай Васильевич Гоголь

Статьи

О современнике (Письмо к П. А. Плетневу)

Наконец поговорю с тобой о Современнике. Современник вышел плохим журналом, несмотря на прекрасную цель, которую ты имел в виду. Даже эта самая прекрасная цель, во имя которой ты предпринял его, не обнаружилась никому очевидно и ясно из самого журнала; напротив, всяк спрашивал в недоумении друг у друга: «Объясните мне, зачем и для чего издает Плетнев свой журнал? что хочет он сказать им? что значат эти общие места в его программе, эти повторения о беспристрастии, о бескорыстной любви к искусству, о стремлении к истине и т. п., которые обещает всякой журналист и которых не исполняет никто?» Тощее содержание его тоненьких книжек, не живой, безучастный, вялый и неопределенный слог его суждений обо всем современном задавал только загадку решать: зачем он назван Современником. Будем говорить откровенно. У тебя нет качеств журналиста: ни юношеского живого участия ко всем волнениям современным, ни того трепета любопытства к вопросам, раздающимся в массе общества, ни наконец энциклопедического науколюбивого стремления обнимать с равной охотой всё, что ни относится к развитию познаний человеческих во всех родах. Твоя антологическая душа получила только на долю себе один возвышенный дар – услаждаться благоуханьем прекрасных цветов поэзии и обонять аромат высших движений души человеческой. Не певцу Миниха и некоторых других прекрасных элегий, свидетельствующих о чистоте вкуса и скромной тишине души самого певца, выступать было на поприще полемическое. Современник даже и при Пушкине не был тем, чем должен быть журнал, несмотря на то, что Пушкин задал себе цель более положительную и близкую к исполнению. Он хотел сделать четвертное обозрение в роде английских, в котором могли бы помещаться статьи более обдуманые и полные, чем какие могут быть в еженедельниках и ежемесячниках, где сотрудники, обязанные торопиться, не имеют даже времени пересмотреть то, что написали сами. Впрочем сильного желанья издавать этот журнал в нем не было, и он сам не ожидал от него большой пользы. Получивши разрешение на издание его, он уже хотел было отказаться. Грех лежит на моей душе: я умолил его. Я обещался быть верным сотрудником. В статьях моих он находил много того, что может сообщить журнальную живость изданию, какой он в себе не признавал. Он действительно в то время слишком высоко созрел для того, чтобы заключать в себе это юношеское чувство; моя же душа была тогда еще молода; я мог принимать живей к сердцу то, для чего он уже простыл. Моя настойчивая речь и обещанье действовать его убедили; но слова моего я бы не мог исполнить даже и тогда, если бы он был жив. Не знал я, какими путями поведет меня провиденье, как отнимутся у меня силы ко всякой живой производительности литературной и как умру я надолго для всего того, что шевелит современного человека. По смерти Пушкина, пораженный этой скорбной для всех утратой, а для тебя еще скорбнейшей, чем для всех, пораженный сиротством современного общества, очутившегося без поэзии, как без света, осужденного выслушивать пустые и черствые пренья и споры об искусстве наместо дел самого искусства, пораженный этим сиротством, которое, впрочем, началось уже и при Пушкине, ты взялся горячо за издание журнала, стремясь насильно создать ту поэтическую Элладу, которая образовалась сама собой в начале поприща Пушкина. В пылу великодушного увлечения своего ты даже позабыл то, что не мы управляем делами и событиями, но чертится свыше всему черед свой. Ты даже не заметил того, что имел такую цель, которой ни в каком

случае нельзя было достигнуть листками периодического ежемесячного издания. Современник как журнал не удался бы даже и тогда, если бы ты заключал в себе все качества журналиста. Признаюсь, я даже не могу и представить себе, чем может быть нужно нынешнему времени появление нового журнала. Это энциклопедическое образование публики посредством журналов уже не так теперь нужно, как было прежде. Публика уже более приготовлена. Уже всё зовет ныне человека к занятиям более сосредоточенным, не только значительность современных вопросов, но даже самая пустота современного общества и легковесная ветренность дел его приглашают ныне человека взглянуть строго на самого себя, спросить с большей отчетливостью свои силы и определить себе труд не временный, минутный, но тот живительный и полный, который ответствен за одним тем способностям, которыми своеобразно наделен из нас каждый уже от самого рождения своего. Никакой новый журнал не может дать теперь обществу пищи питательной и существенной. Современник должен отбросить от себя название журнала; он должен сжаться по-прежнему в книги наместо листов и более еще, чем при Пушкине, походить на альманах: он должен скорей напомнить собой Северные цветы барона Дельвига, с которым было у тебя так много сходства в уменья наслаждаться и – нежиться благоуханными звуками поэзии. Пусть лучше будет выходить он три раза всякой год в урочные времена: первый раз ко дню светлого воскресенья, как светлый подарок на праздник, во второй раз к 1-му октября, то есть ко времени, когда все съезжаются у нас из дач и деревень в города, в третий раз – к новому году. Словом – пусть он будет современен тем эпохам, когда с большей жадностью встречается новая книга. Всё собственно журнальное в нем не должно иметь места: ни возвещенья о новостях ежедневных, ни политические известия, ни поименования всех выходящих книг, разве только один строгий отчет о замечательнейших из них за всю треть в таком виде, чтоб он сам собой мог уже составить замечательную литературную статью. Нужно, чтобы здесь ничто не поминало читателю о том, что есть какие-нибудь распри в литературе и существует журнальная полемика. Самые статьи должны быть допущены сосредоточенные, полные, которые ничем не походили бы на торопливые, отрывочные статьи журналов. Нужно, чтобы здесь были одни лучшие цветы современной нашей литературы. Этого можно достигнуть только таким изданием, которое будет выходить не более трех раз в год: в три месяца можно набрать книжку. Современное нам время, слава богу, не без талантов. Часть прозаическая альманаха может быть теперь гораздо значительней и богаче, чем когда-либо прежде. Поименуем нарочно тех современных писателей, статьями которых может украситься Современник. Прежде всего следует назвать графа Соллогуба, который бесспорно есть нынешний наш лучший повествователь. Никто не щеголяет таким правильным, ловким и светским языком. Слог его точен и приличен во всех выраженьях и оборотах. Остроты, наблюдательности, познаний всего того, чем занято наше высшее модное общество, у него много. Один только недостаток: не набралась еще собственная душа автора содержания более строгого и не доведен еще он своими внутренними событиями к тому, чтобы строже и отчетливее взглянуть вообще на жизнь. Но, если и это в нем совершится, он будет вполне верный живописец лучшего общества; значительность творений его выигрывает больше чем сто на сто. Непосредственно за ним следует назвать другого писателя, который скрыл свое имя под выдуманном: козак Луганский. Он не поэт, не владеет искусством вымысла, не имеет даже стремления производить творческие создания; он видит всюду дело и глядит на всякую вещь с ее дельной стороны. Ум твердый и дельный виден во всяком его слове, а наблюдательность и природная острота вооружают живостью его слово. Всё у него правда и взято так, как есть в природе. Ему стоит, не прибегая ни к завязке, ни к развязке, над которыми так ломает голову романист, взять любой случай, случившийся в русской земле, первое дело, которого производству он был свидетелем и очевидцем, чтобы вышла сама собой наизамательнейшая повесть. По мне он значительней всех повествователей-изобретателей. Может быть, я сужу здесь пристрастно, потому что писатель этот более других угодил личности моего собственного вкуса и своеобраз-

разью моих собственных требований: каждая его строчка меня учит и вразумляет, придвигая ближе к познанию русского быта и нашей народной жизни; но зато всяк согласится со мной, что этот писатель полезен и нужен всем нам в нынешнее время. Его сочинения – живая и верная статистика России. Всё, что ни достанет он из своей многовмещающей памяти и что ни расскажет достоверным языком своим, будет драгоценным подарком, для твоего альманаха. Я не знаю, почему замолчал Н. Павлов, писатель, который первыми тремя повестями своими получил с первого раза право на почетное место между нашими прозаическими писателями и который повредил себе только тем, что, не захотевши быть самим собой, вздумал копировать (в трех новых повестях своих) тех модных нувеллистов, которые гораздо его ниже. Он мог бы всегда, не прибегая ни к напряженным вымыслам поэтическим, ни к мозаичным искусственным украшениям речи, так изуродовавшим благородный и ясный слог его, взять на выдержку первое психологическое явление нашего общества и рассказать его так отчетливо и умно, что повесть его имела бы все принадлежности тех строгих классических произведений, которые остаются навсегда образцами в литературе. Я вижу тоже много достоинств в писателе, который подписывает под своими сочинениями имя: Кулиш. Цветистый слог и большое познание нравов и обычаев Малой России говорят о том, что он мог бы прекрасно написать историю этой земли. Он мог бы еще с большим успехом составить живые статьи для альманаха и в них рассказать просто о нравах и обычаях прежних времен, не вставляя этого в повесть или драматический рассказ, подобно тому, как некогда рассказывал Корнилович о временах до Петра и при Петре. Роман же его, довольно любопытный по частям, вял и скучен в целом: эти драгоценные перлы сведений исторических, которые рассыпаны на страницах его, погибают там совершенно бесплодно. Мне сказывали, что вообще в последнее время повесть сделала у нас успех, и несколько молодых писателей показали особенное стремление к наблюдению жизни действительной. Из того, что удалось прочесть мне самому, я заметил также тому признаки, хотя постройка самих повестей мне показалась особенно неискусна и неловка; в рассказе заметил я излишество и многословие, а в слоге отсутствие простоты. Но я уверен, что если в каждом из этих писателей прежде сформируется человек, чем писатель – все прочее придет само собою, и каждый из них, обнаружив еще сильней особенности пера своего, не покажет ни одного из этих недостатков. Не могу не упомянуть о писателе, выступившем на литературное поприще драмою Смерть Ляпунова. Не имея в себе полной зрелости строения драматического, которое доступно одним только опытным драматургам, драма эта имеет в себе много тех достоинств, которые пророчат в творце ее писателя замечательного. Слышать живость минувшего и уметь заговорить о нем таким живым языком – это свойство великое! Я бы на его месте так и впился в русские летописи и ни на миг не оторвался бы от этого чтения. Он может много извлечь оттуда прекрасных предметов. Почему знать, может быть, от такого чтения родилась бы в нем благословенная мысль написать правдивую историю времени, его преимущественно поразившего. Вполне историческое произведение, исполненное писателем, умеющим так живо чувствовать исторические характеры, и написанное таким живым пером, будет в несколько раз значительней исторических драм. Кстати о молодых и начинающих писателях: мне бы очень хотелось, чтобы ты отыскал Прокоповича и умел склонить его взяться за перо повествователя. Из всех тех, которые воспитывались со мною вместе в школе и начали писать в одно время со мной, у него раньше, чем у всех других, показалась наглядность, наблюдательность и живопись жизни. Его проза была свободна, говорлива, всё изливалось у него непринужденно-обильно, всё доставалось ему легко и пророчило в нем плодовитейшего романиста. Он задремал теперь, я это знаю; он дал заснуть в себе желанию действовать на поприще просторном, самый круг его стал тесен и перед ним мало жизненного поля для наблюдений. Но жизнь везде жизнь, и чем меньше ее простор и теснее ее круг, тем основательней и глубже он может быть нами исследуем и проникнут. Уже самая своя собственная душевная повесть, предметом которой будет взято собственное пробуждение от мертвенного застоя, заставляющее с ужасом взглянуть человека

на животно-истраченную жизнь свою, может быть высоким предметом для романа. Какой бы праздник был душе моей, если бы я встретил в Современнике повесть, под которою было бы подписано его имя! Что же касается до меня самого, то я по-прежнему не могу быть работающим и ревностным вкладчиком в твой Современник. Ты уже сам почувствовал, что меня нельзя назвать писателем в строгом классическом смысле. Из всех тех, которые начали писать со мною вместе, еще в лета моего школьного юношества, у меня менее, чем у всех других, замечались те свойства, которые составляют необходимые условия писателя. Скажу тебе, что даже в самых ранних помышлениях моих о будущем поприще моем, никогда не представлялось мне поприще писателя. Столкнулся я с ним почти нечаянно. Некоторые мои наблюдения над некоторыми сторонами жизни, мне нужными для дела душевного, издавна меня занимавшего, были виной того, что я взялся за перо и вздумал преждевременно поделиться с читателем тем, чем мне следовало поделиться уже потом, по совершеньи моего собственного воспитания. Мне доставалось трудно всё то, что достается легко природному писателю. Я до сих пор, как ни бьюсь, не могу обработать слог и язык свой, первые необходимые орудия всякого писателя: они у меня до сих пор в таком неряшестве, как ни у кого даже из дурных писателей, так что надо мной имеет право посмеяться едва начинающий школьник. Всё мною написанное замечательно только в психологическом значении, но оно никак не может быть образцом словесности, и тот наставник поступит неосторожно, кто посоветует своим ученикам учиться у меня искусству писать или подобно мне живописать природу: он заставит их производить карикатуры. Доказательство этому можешь видеть на некоторых молодых и неопытных подражателях моих, которые именно через это самое подражание стали несравненно ниже самих себя, лишив себя своей собственной самостоятельности. У меня никогда не было стремления быть отголоском всего и отражать в себе действительность, как она есть вокруг нас, – стремления, которое тревожит поэта во всё продолжение его жизни и умирает в нем только с его собственной смертью. Я даже не могу заговорить теперь ни о чем, кроме того, что близко моей собственной душе. Итак, если я почувствую, что чистосердечный голос мой будет истинно нужен кому-нибудь, и слово мое может принести какое-нибудь внутреннее примиренье человеку, тогда у тебя в Современнике будет моя статья; если ж нет – ее не будет. И ты на меня за это никак не гневайся. Я здесь не упомянул также ни об одном из тех современных прозаических писателей наших, которые, будучи заняты собственными изданиями или же сидя над трудами более отвлеченными, требующими полного внимания, не имеют ни возможности, ни досуга поработать для твоего Современника. Их не следует и беспокоить. Здесь кстати я должен тебя побранить. Ты был несправедлив, приписывая безучастное невнимание многих литераторов к твоему журналу их равнодушию к общему делу, нелюбви к искусству, деньголюбию и т. п. У всякого есть свое внутреннее дело; у всякого совершается в душе свое собственное событие, на время его отвлекающее от участия в деле общем; и никак нельзя требовать, чтобы другой жертвовал собой и своей собственной целью для какой-нибудь нами любимой мысли или нашей цели, к которой мы предположили себе стремиться. Каждому определяет бог дорогу, непохожую на ту, которую назначено проходить другому, и нельзя мерять всех одним и тем же аршином. А потому уважай и самый отказ другого даже и тогда, если бы он не захотел объявить причины, почему не может дать статьи в Современник. Довольствуйся тем, что дадут. Если только одни поименованные мною писатели дадут статьи свои, то и этого уже будет достаточно. Но я знаю, что дадут еще и другие, которых я не назвал. Вопреки людям, жалующимся на недостаток талантов в нынешнее время, я вижу их теперь гораздо больше, чем когда-либо прежде. Они не попали на свою дорогу. Еще никто из них не умел стать самим собой и это причина их неприметности; но многие из них уже болеют этим желанием, хотя и не знают, как удовлетворить ему. Стремление узнать назначение свое есть теперь страданье многих людей, одаренных способностями. Оно-то есть настоящая, истинная причина дремоты и бездейственности на поприще литературном.

Стихотворная часть Современника может быть также весьма богата, не взирая на то, что, по-видимому, в современном обществе угаснуло расположение к поэзии. Слава богу, еще здравствует сам патриарх нашей поэзии: еще небо хранит нам Жуковского. В награду за безукоризненную, чистую жизнь ему одному из всех нас дано почувствовать свежесть молодости в старческие лета и силу юноши для дела поэтического. Его нынешние труды далеко полновесней и значительней прежних. Не нужно судить о нем по тем стихотворным сказкам и повестям, которые были помещены в последнее время в Современнике. Они не могли и не должны были произвести никакого впечатления на общество, и нечего удивляться, что общество, оценивая всякое новое произведение относительно своих собственных потребностей душевных, ища в нем ответа на тревожные исканья свои, назвало эти стихотворенья ребячеством Жуковского. Они, точно, назначены для малолетних детей. Повести и сказки эти должны были выйти особой книжкой под названьем: Подарок детям от Жуковского. Он сделал ошибку, пославши их в журнал. Я говорил это ему тогда же, советуя или ничего не посылать или послать то, что пришлось бы по душе взрослому человеку. Но теперь я знаю, что он пришлет тебе в Альманах который-нибудь из тех перлов, которые выработались во глубине его собственной души, где в последнее время так много произошло прекрасного. Еще, слава богу, здравствуют два другие первоклассные наши поэты: князь Вяземский и Языков, и могут подарить Современник новыми, дотоле не раздававшимися от них звуками, – звуками, исторгнутыми из выстрадавшегося сердца, песнями самой души, уже набравшейся строгого содержания высшей поэзии. Самые наши молодые, недавно показавшиеся поэты, которых я здесь не называю по именам, которые показали покуда одно благозвучие, легкость и щегольство стихосложения, но еще не показали истинных и верных ощущений своих, могут заговорить струнами поэзии, более нам близкой. Поэзия есть чистая исповедь души, а не порожденье искусства или хотенья человеческого; поэзия есть правда души, а потому и всем равно может быть доступна. Способность вымысла и творчества есть слишком высокая способность и дается одним только всемирным гениям, которых появление слишком редко на земле; опасно и вступать на этот путь другому. Многие даже из первокласснейших талантов становились ниже себя, зашедши в область вымысла, но высоко возвышались даже и небольшие таланты, когда событиями собственной души своей были наведены на то, чтобы передавать одну чистую правду души. Припеваает время, когда жажда исповеди душевной становится сильнее и сильнее. Много поэтических звуков издадут даже и те, которые не помышляли быть поэтами; много прекрасных цветков, много драгоценных вкладов нанесут к тебе со всех сторон в твой Современник. Ты сам, хотя уже давно не пробовал звуков оставленной и позабытой тобою лиры, примешься за нее вновь. Ты, верно, испытал в это время тоже не мало скорбных минут и никем не услышанного горя, твоя душа, верно, томилась также желаньем передать и объяснить себя, искала друга, которому могло бы быть доступно тяжкое состоянье ее, и, не найдя его нигде, обратилась наконец к тому родному всем нам существу, которое одно умеет принимать любовно на грудь к себе тоскующего и скорбящего и к которому наконец все живущее обратится. Припомни же все эти минуты, как минуты скорбей, так и минуты высших утешений, тебе ниспосланных; передай их, изобрази в той правде, в какой они были. Тебе помогут слезы умиления и растроганные чувства признательной души твоей; они помогут тебе передать с такой силой, с какой не сумеет передать их великий, владеющий чародейством вымысла, но еще не выстрадавшийся поэт. Современник тогда оправдает данное ему названье, но оправдает его в другом – высшем смысле: он будет современен всем высшим минутам русского писателя и человека. Он тогда ближе приблизится к той «цели», которая доселе так отдаленно и неясно представлялась в твоих мыслях: он соединит эстетическим союзом прекрасного братства всех пишущих. Один только ты в России можешь предпринять и выполнить такое издание, потому что один только ты питал о нем постоянную мысль, один только ты не имел в виду денежных интересов и вознагражде-

ний за труды, один ты безотчетно питал чистую, младенческую любовь к искусству, сделавшую тебя другом лучших поэтов наших и превратившую для тебя самое искусство в твое собственное, как бы родное и семейственное дело. Стало быть, одному только тебе может быть вверено такое издание. Оно должно быть роскошно; оно должно быть во всех отношениях драгоценным подарком: печататься со всей возможной типографической роскошью, украситься лучшими гравюрами и виньетами, какие могут только быть произведены у нас в России (гравиров выбери русских, иностранцев сюда не вмешивай). Меру книгам дай небольшую, немного чем побольше Северных цветов, словом – чтобы и по достоинству и по виду издание походило на драгоценность. Всё это можешь исполнить один только ты, потому что, не имея в виду пользоваться доходами с него для своего собственного содержания и прокормленья, ты можешь всё употребить на красоту самого издания и таким образом доставить хлеб бедным художникам нашим, которым приходится иногда претерпевать горькую чашу.

Итак, если всё это, что я теперь сказал, пришлось тебе по сердцу, то, благословясь, приступай с богом к составленью первой книжки Современника ко времени наступающего праздника светлого воскресения 1847 года, а письмо мое поставь первой статьей в виде программы или вступленья в самую книгу. До того же времени дай его прочесть всем тем, от которых ты пожелал бы иметь статью. Как ни слабо и ни поверхностно оно написано, но я уверен, что по прочтенью его всяк согласится вместе с тобой и со мной в необходимости такого издания в России и, верно, даст тебе наилучшее из своих произведений. В газетных листах ты можешь объявить о нем только немногими словами – именно, что Современник будет выходить в трех книгах в означенные сроки; прибавь к этому одни только имена тех, которых статьи будут помещены – этого достаточно. Пусть лучше всё остальное, как достоинство статей, так и роскошь самого издания, будет приятной неожиданностью для каждого читателя.

«Авторская исповедь.»

Все согласны в том, что еще ни одна книга не произвела столько разнообразных толков, как Выбранные места из переписки с друзьями. И что всего замечательней, чего не случилось, может быть, доселе еще ни в какой литературе, предметом толков и критик стала не книга, но автор. Подозрительно и недоверчиво разобрано было всякое слово, и всяк наперерыв спешил объявить источник, из которого оно произошло. Над живым телом еще живущего человека производилась та страшная анатомия, от которой бросает в холодный пот даже и того, кто одарен крепким сложенем. Как, однако же, ни были потрясающи и обидны для человека благородного и честного многие заключения и выводы, но, скрепясь, сколько достало небольших сил моих, я решился стерпеть всё и воспользоваться этим случаем, как указаньем свыше – рассмотреть построже самого себя. Никогда и прежде я не пренебрегал советами, мненьями, осуждениями и упреками, уверяясь, чем далее, более, что если только истребишь в себе те щекотливые струны, которые способны раздражаться и гневаться, и приведешь себя в состояние всё выслушивать спокойно, тогда услышишь тот средний голос, который получается в итоге тогда, когда сложишь все голоса и сообразишь крайности обеих сторон, словом – тот всеми искомый средний голос, который недаром называют гласом народа и гласом Божиим. Но на этот раз, несмотря на то, что многие упреки были истинно полезны душе моей, я не услышал этого среднего голоса и не могу сказать, чем решилось дело и чем определено считать мою книгу. В итоге мне послышались три разные мнения: первое, что книга есть произведение неслыханной гордости человека, возмнившего, что он стал выше всех своих читателей, имеет право на вниманье всей России и может преобразовывать целое общество; второе, что книга эта есть творение доброго, но впавшего в прелесть и в обольщенье человека, у которого закружилась голова от похвал, от самоуслаждения своими достоинствами, который вследствие этого сбился и спутался; третье, что книга есть произведение христианина, глядящего с верной точки на вещи и ставящего всякую вещь на ее законное место. На стороне каждого из этих мнений находятся равно просвещенные и умные люди, а также и равно верующие христиане. Стало быть, ни одно из этих мнений, будучи справедливо отчасти, никак не может быть справедливо вполне. Справедливее всего следовало бы назвать эту книгу верным зеркалом человека. В ней находится то же, что во всяком человеке; прежде всего желанье добра, создавшее самую книгу, которое живет у всякого человека, если только он почувствовал, что такое добро; сознание искреннее своих недостатков и рядом с ним высокое мнение о своих достоинствах, желанье искреннее учиться самому и рядом с ним уверенность, что можешь научить многому и других; смирение и рядом с ним гордость, и, может быть, гордость в самом смирении; упреки другим в том самом, на чем поскользнулся сам и за что достоин еще больших упреков. Словом, то же, что в каждом человеке, с той только разницей, что здесь слетели все условия и приличия и всё, что таит внутри человек, выступило внаружу, с той еще разницей, что завопило это крикливей и громче, как в писателе, у которого всё, что ни есть в душе, просится на свет, ударило ярче всем в глаза, как в человеке, получившем на долю больше способностей сравнительно с другим человеком. Словом, книга может послужить только доказательством великой истины слов апостола Павла, сказавшего, что весь человек есть ложь.

Но к этому заключению, может быть, более всех прочих справедливому, никто не пришел, потому что торжественный тон самой книги и необыкновенный слог ее сбил более или менее, всех и не поставил никого на надлежащую точку воззрения. Издавая ее под влиянием страха смерти своей, который преследовал меня во всё время болезненного моего состояния, даже и тогда, когда я уже был вне опасности, я нечувствительно перешел в тон, мне несвойственный и уж вовсе неприличный еще живущему человеку. Из боязни, что мне не удастся

окончить того сочиненья моего, которым занята была постоянно мысль моя в течение десяти лет, я имел неосторожность заговорить вперед кое о чем из того, что должно было мне доказать в лице выведенных героев повествовательного сочинения. Это обратилось в неуместную проповедь, странную в устах автора, в какие-то мистические непонятные места, не вяжущиеся с остальными письмами. Наконец, разнообразный тон самих писем, писанных к людям разных характеров и свойств, писанных в разные времена моего душевного состояния. Одни были писаны в то время, когда я, воспитываясь сам упреками, прося и требуя их от других, считал в то же время надобностью раздавать их и другим; другие были писаны в то время, когда я стал чувствовать, что упреки следует приберечь для самого себя, в речах же с другими следует употреблять одну только братскую любовь. От этого и мягкость и резкость встретились почти вместе. Наконец, непомещение многих тех статей, которые должны были войти в книгу, как связывавшиеся и объясняющие многое. Наконец, моя собственная темнота и неуменье выражаться, принадлежности не вполне организовавшегося писателя, всё это споспешествовало тому, чтобы сбить не одного читателя и произвести бесчисленное множество выводов и заключений невпопад. Гордость отыскивали в тех словах, которые подвигнуты были, может быть, совершенно противоположною причиною; где же была действительно гордость, там ее не заметили. Назвали уничиженьем то, что было вовсе не уничиженьем. А что главнее всего: не было двух человек, совершенно сходных между собою в мыслях, когда только доходило дело до разбора книги по частям, что весьма справедливо дало заметить некоторым, что в суждениях своих о моей книге всякой выражал более самого себя, чем меня или мою книгу. Разумеется, всему виною я. А потому во всех нападениях на мои личные нравственные качества, как ни оскорбительны они для человека, в ком еще не умерло благородство, я не имею права обвинять никого.

Сделаю вскользь замечанья два на то, что не относится до моих нравственных качеств. Меня изумило, когда люди умные стали делать придирки к словам, совершенно ясным, и, остановившись над двумя, тремя местами, стали выводить заключения, совершенно противоположные духу всего сочинения. Из двух, трех слов, сказанных такому помещику, у которого все крестьяне земледельцы, озабоченные круглый год работой, вывести заключение, что я воюю против просвещения народного – это показалось мне очень странно, тем более, что я полжизни думал сам о том, как бы написать истинно полезную книгу для простого народа, и остановился, почувствовавши, что нужно быть очень умну для того, чтобы знать, что прежде нужно подать народу. А покуда нет таких умных книг, мне казалось, что слово устное пастырей церкви полезней и нужней для мужика всего того, что может сказать ему наш брат писатель. Сколько я себя ни помню, я всегда стоял за просвещение народное, но мне казалось, что еще прежде, чем просвещение самого народа, полезней просвещение тех, которые имеют ближайшие столкновения с народом, от которых часто терпит народ. Мне казалось, наконец, гораздо более требовавшим вниманья к себе не сословие земледельцев, но то тесное сословие, ныне увеличивающееся, которое вышло из земледельцев, которое занимает разные мелкие места и, не имея никакой нравственности, несмотря на небольшую, грамотность, вредит всем, затем, чтобы жить на счет бедных. Для этого-то сословия мне казались наиболее необходи^{мыми} книги умных писателей, которые, почувствовавши сами их долг, умели бы им их объяснить. А землепашец наш мне всегда казался нравственнее всех других и менее других нуждающийся в наставлениях писателя. Тоже не менее странным показалось мне, когда из одного места моей книги, где я говорю, что в критиках, на меня нападавших, есть много справедливого, вывели заключения, что я отвергаю все достоинства моих сочинений и не согласен с теми критиками, которые говорили в мою пользу [На завещанье не следовало упираться. В нем судишь себя строго, потому что готовишься предстать на суд пред того, пред которым ни один человек не бывает прав. (Прим. Гоголя.)]. Я очень помню и совсем не позабыл, что по поводу небольших моих досто-

инств явились у нас очень замечательные критики, которые навсегда останутся памятниками любви к искусству, которые возвысили в глазах общества значение поэтических созданий. Но неловко же мне говорить самому о своих достоинствах, да и с какой стати? О недостатках моих литературных я заговорил, потому что пришлось кстати, по поводу психологического вопроса, который есть главный предмет всей моей книги. Как же не соображать этих вещей! Не менее странно также – из того, что я выставил ярко на вид наши русские элементы, делать вывод, будто я отвергаю потребность просвещения европейского и считаю ненужным для русского знать весь трудный «путь?» совершенствования человеческого. И прежде и теперь мне казалось, что русский гражданин должен знать дела Европы. Но я был убежден всегда, что если, при этой похвальной жадности знать чужеземное, упустишь из виду свои русские начала, то знания эти не принесут добра, собьют, спутают и разбросают мысли, наместо того, чтобы сосредоточить и собрать их. И прежде и теперь я был уверен в том, что нужно очень хорошо и очень глубоко узнать свою русскую природу, и что только с помощью этого знания «можно» почувствовать, что именно следует нам брать и заимствовать из Европы, которая сама этого не говорит. Мне казалось всегда, что прежде, чем вводить что-либо новое, нужно не как-нибудь, но в корне узнать старое; иначе применение самого благодетельнейшего открытия не будет успешно. С этой целью я и заговорил преимущественно о старом. Словом, все эти односторонние выводы людей умных и притом таких, которых я вовсе не считал односторонними, все эти придирки к словам, а не к смыслу и духу сочинения, показывают мне то, что никто не был в покойном расположении, когда читал мою книгу; что уже вперед установилось какое-то предубеждение, прежде чем она явилась в свет, и всякой глядел на нее вследствие уже заготовленного вперед взгляда, останавливаясь только над тем, что укрепляло его в предубеждении и раздражало, и проходя мимо всё то, что способно опровергнуть предубеждение, а самого читателя успокоить. Сила эта странного раздражения была так велика, что даже разрушила все те приличия, которые доселе еще сохранялись относительно к писателю. Почти в глаза автору стали говорить, что он сошел с ума, и приписывали ему рецепты от умственного расстройства. Не могу скрыть, что меня еще более опечалило, когда люди также умные, и притом не раздраженные, превозгласили печатно, что в моей книге ничего нет нового, что же и ново в ней, то ложь, а не истинно. Это показалось мне жестоко. Как бы то ни было, но в ней есть моя собственная исповедь; в ней есть излияние и души и сердца моего. Я еще не признан публично бесчестным человеком, которому бы никакого доверия нельзя было оказывать. Я могу ошибаться, могу попасть в заблуждение, как и всякой человек, могу сказать ложь в том смысле, как и весь человек есть ложь; но назвать всё, что излилось из души и сердца моего, ложью – это жестоко. Это несправедливо так же, как несправедливо и то, что в книге моей ничего нет нового. Исповедь человека, который провел несколько лет внутри себя, который воспитывал себя, как ученик, желая вознаградить, хотя поздно, за время, потерянное в юности, и который притом не во всем похож на других и имеет некоторые свойства, ему одному принадлежащие, – исповедь такого человека не может не представить чего-нибудь нового. Как бы то ни было, но в таком деле, где замешалось дело души, нельзя так решительно возвещать приговор. Тут и наиглубокомысленнейший душеведец призадумается. В душевном деле трудно и над человеком обыкновенным произнести суд свой. Есть такие вещи, которые не подвластны холодному рассуждению, как бы умен ни был рассуждающий, которые постигаются только в минуты тех душевных настроений, когда собственная душа наша расположена к исповеди, к обращению на себя, к оуждению себя, а не других. Словом, в этой решительности, с какою был произнесен этот приговор, мне показалась большая собственная самоуверенность судившего – в уме своем и в верховности своей точки воззрения. Не с тем я здесь говорю это, чтобы кого-нибудь попрекнуть, но с тем, чтобы показать только, как на всяком шагу мы близки к тому, чтобы впасть в тот порок, в котором только что попрекнули своего брата; как, укоривши в самоуверенности другого, мы тут же в собственных словах показываем свою собственную самоуверенность; как, укоривши в

неснисходительности другого, мы тут же бываем неснисходительны и придиричивы сами. Благодарен по крайней мере тот, кто имеет духу в этом сознаться и не стыдится, хоть бы в глазах всего света, сказать, что он ошибся. Но довольно. Вовсе не затем, чтобы защищать себя с нравственных сторон моих, я подаю теперь голос. Нет, я считаю обязанностью отвечать только на тот запрос, который сделан мне почти единоустно от лица читателей всех моих прежних сочинений, – запрос: зачем я оставил тот род и то поприще, которое за собою уже утвердил, где был почти господин, и принялся за другое, мне чуждое?

Чтобы отвечать на этот запрос, я решаюсь чистосердечно и сколько возможно короче изложить всю повесть моего авторства, чтобы дать возможность всякому справедливее осудить меня, чтобы увидал читатель, переменял ли я поприще свое, умничал ли сам от себя, желая дать себе другое направление, или и в моей судьбе так же, как и во всем, следует признать участие того, кто располагает миром не всегда сообразно тому, как нам хочется, и с которым трудно бороться человеку. Может быть, эта чистосердечная повесть моя послужит объяснением хотя некоторой части того, что кажется такой необъяснимой загадкой для многих, в недавно вышедшей моей книге. Если бы случилось так, я был бы этому истинно рад, потому что вся эта странная история меня утомила сильно, и мне не легко самому от этого вихря недоразумений.

Я не могу сказать утвердительно, точно ли поприще писателя есть мое поприще. Знаю только то, что в те годы, когда я стал задумываться о моем будущем (а задумываться о будущем я начал рано, в те поры, когда все мои сверстники думали еще об играх), мысль о писателе мне никогда не всходила на ум, хотя мне всегда казалось, что я сделаюсь человеком известным, что меня ожидает просторный круг действий и что я сделаю даже что-то для общего добра. Я думал, просто, что я выслужусь и всё это доставит служба государственная. От этого страсть служить была у меня в юности очень сильна. Она пребывала неотлучно в моей голове впереди всех моих дел и занятий. Первые мои опыты, первые упражнения в сочиненьях, к которым я получил навык в последнее время пребывания моего в школе, были почти все в лирическом и сурьезном роде. Ни я сам, ни сотоварищи мои, упражнявшиеся также вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне придется быть писателем комическим и сатирическим, хотя, несмотря на мой меланхолической от природы характер, на меня часто находила охота шутить и даже надоедать другим моими шутками; хотя в самых ранних сужденьях моих о людях находили уметь замечать те особенности, которые ускользают от вниманья других людей, как крупные, так мелкие и смешные. Говорили, что я умею не то что передразнить, но угадать человека, то есть угадать, что он должен в таких и таких случаях сказать, с удержаньем самого склада и образа его мыслей и речей. Но всё это не переносилось на бумагу, и я даже вовсе не думал о том, что сделаю со временем из этого употребление.

Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе всё смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего, и кому от этого выйдет какая польза. Молодость, во время которой не приходят на ум никакие вопросы, подталкивала. Вот происхождение тех первых моих произведений, которые одних заставили смеяться так же беззаботно и безотчетно, как и меня самого, а других приводили в недоумение решить, как могли человеку умному приходить в голову такие глупости. Может быть, с годами и с потребностью развлекать себя веселость эта исчезнула бы, а с нею вместе и мое писательство. Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело сурьезно. Он уже давно склонял меня приняться за большое сочине-

ние и наконец, один раз, после того, как я ему прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего мной прежде читанного, он мне сказал: «Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью, не приняться за большое сочинение! Это, просто, грех!» Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано; привел мне в пример Сервантеса, который, хотя и написал несколько очень замечательных и хороших повестей, но если бы не принялся за Донкишота, никогда бы не занял того места, которое занимает теперь между писателями, и, в заключение всего, отдал – мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то в роде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет Мертвых душ. (Мысль Ревизора принадлежит также ему). На этот раз и я сам уже задумался сурьезно, – тем более, что стали приближаться такие года, когда сам собой приходит запрос всякому поступку: зачем и для чего его делаешь? Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, напрасно, сам не зная зачем. Если смеяться, так уже лучше смеяться сильно и над тем, что действительно достойно осмеянья всеобщего. В Ревизоре я решился собрать в одну кучу всё дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем. Но это, как известно, произвело потрясающее действие. Сквозь смех, который никогда еще во мне не появлялся в такой силе, читатель услышал грусть. Я сам почувствовал, что уже смех мой не тот, какой был прежде, что уже не могу быть в сочиненьях моих тем, чем был дотоле, и что самая потребность развлекать себя невинными, беззаботными сценами окончилась вместе с молодыми моими летами. После Ревизора я почувствовал, более нежели когда-либо прежде, потребность сочиненья полного, где было бы уже не одно то, над чем следует смеяться. Пушкин находил, что сюжет Мертвых душ хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров. Я начал было писать, не определивши себе обстоятельного плана, не давши себе отчета, что такое именно должен быть сам герой. Я думал просто, что смешной проект, исполнением которого занят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица и характеры; что родившаяся во мне самом охота смеяться создаст сама собою множество смешных явлений, которые я намерен был перемешать с трогательными. Но на всяком шагу я был останавливаем вопросами: зачем? к чему это? что должен сказать собою такой-то характер? что должно выразить собою такое-то явление? Спрашивается: что нужно делать, когда приходят такие вопросы? Прогонять их? Я пробовал, но неотразимые вопросы стояли передо мною. Не чувствуя существенной надобности в том и другом герое, я не мог почувствовать и любви к делу изобразить его. Напротив, я чувствовал что-то в роде отвращения: всё у меня выходило натянуто, насильно и даже то, над чем я смеялся, становилось печально.

Я увидел ясно, что больше не могу писать без плана, вполне определительного и ясного, что следует хорошо объяснить прежде самому себе цель сочиненья своего, его существенную полезность и необходимость, вследствие чего сам автор возгорелся бы любовью истинной и сильной к труду своему, которая животворит всё и без которой не идет работа. Словом, чтобы почувствовал и убедился сам автор, что, творя творенье свое, он исполняет именно тот долг, для которого он призван на землю, для которого именно даны ему способности и силы, и что, исполняя «его», он служит в то же самое время так же государству своему, как бы он действительно находился в государственной службе. Мысль о службе у меня никогда не пропадала. Прежде чем вступить на поприще писателя, я переменял множество разных мест и должностей, чтобы узнать, к которой из них я был больше способен; но не был доволен ни службой, ни собою, ни теми, которые надо мной были поставлены. Я еще не знал тогда, как многого мне недоставало затем, чтобы служить так, как я хотел служить. Я не знал тогда, что нужно для

этого победить в себе все щекотливые струны самолюбья личного и гордости личной, не забывать ни на минуту, что взял место не для своего счастья, но для счастья многих тех, которые будут несчастны, если благородный человек бросит свое место, что позабыть нужно обо всех огорчениях собственных. Я не знал еще тогда, что тому, кто пожелает истинно честно служить России, нужно иметь очень много любви к ней, которая бы поглотила уже все другие чувства, – нужно иметь много любви к человеку вообще и сделаться истинным христианином, во всем смысле этого слова. А потому и немудрено, что, не имея этого в себе, я не мог служить так, как хотел, несмотря на то, что сгорал действительно желаньем служить честно. Но как только я почувствовал, что на поприще писателя могу сослужить также службу государственную, я бросил всё: и прежние свои должности, и Петербург, и общества близких душе моей людей, и самую Россию, затем, чтобы вдали и в уединении от всех обсудить, как это сделать, как произвести таким образом свое творенье, чтобы доказало оно, что я был также гражданин земли своей и хотел служить ей. Чем более обдумывал я свое сочинение, тем более чувствовал, что оно может действительно принести пользу. Чем более я обдумывал мое сочинение, тем более видел, что не случайно следует мне взять характеры, какие попадутся, но избрать одни те, на которых заметней и глубже отпечатлелись истинно русские, коренные свойства наши. Мне хотелось в сочинении моем выставить преимущественно те высшие свойства русской природы, которые еще не всеми ценятся справедливо, и преимущественно те низкие, которые еще недостаточно всеми осмеяны и поражены. Мне хотелось сюда собрать одни яркие психологические явления, поместить те наблюдения, которые я делал издавна сокровенно над человеком, которые не доверял дотопе перу, чувствуя сам незрелость его, которые, быв изображены верно, послужили бы разгадкой многого в нашей жизни, словом – чтобы, по прочтении моего сочинения, предстал как бы невольно весь русский человек, со всем разнообразьем богатств и даров, доставшихся на его долю, преимущественно перед другими народами, и со всем множеством тех недостатков, которые находятся в нем, также преимущественно пред всеми другими народами. Я думал, что лирическая сила, которой у меня был запас, поможет мне изобразить так эти достоинства, что к ним возгорится любовью русской человек, а сила смеха, которого у меня также был запас, поможет мне так ярко «изобразить» недостатки, что их возненавидит читатель, если бы даже нашел их в себе самом. Но я почувствовал в то же время, что всё это возможно будет сделать мне только в таком случае, когда узнаешь очень хорошо сам, что действительно в нашей природе есть достоинства и что в ней действительно есть недостатки. Нужно очень хорошо взвесить и оценить то и другое и объяснить себе самому ясно, чтобы не возвести в достоинство того, что есть грех наш, и не поразить смехом вместе с недостатками нашими и того, что есть в нас достоинство. Мне не хотелось даром тратить силу. С тех пор, как мне начали говорить, что я смеюсь не только над недостатком, но даже целиком и над самим человеком, в котором заключен недостаток, и не только над всем человеком, но и над местом, над самой должностью, которую он занимает (чего я никогда даже не имел и в мыслях), я увидел, что нужно со смехом быть очень осторожным, – тем более, что он заразителен, и стоит только тому, кто поостроумней, посмеяться над одной стороной дела, как уже, во след за ним, тот, кто, потупее и поглупее, будет смеяться над всеми сторонами дела. Словом, я видел ясно, как дважды два четыре, что прежде, покамест не определю себе самому определительно, ясно высокое и низкое русской природы нашей, достоинства и недостатки наши, мне нельзя приступить; а чтобы определить себе русскую природу, следует узнать получше природу человека вообще и душу человека вообще: без этого не станешь на ту точку воззрения, с которой видятся ясно недостатки и достоинства всякого народа.

С этих пор человек и душа человека сделались больше, чем когда-либо, предметом наблюдений. Я оставил на время всё современное; я обратил внимание на узнание тех вечных законов, которыми движется человек и человечество вообще. Книги законодателей, душевед-

цев и наблюдателей за природой человека стали моим чтением. Всё, где только выражалось познание людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахорета и пустынноика, меня занимало, и на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, что в нем ключ к душе человека, и что еще никто из душезнателей не всходил на ту высоту познания душевного, на которой стоял он. Поверкой разума поверил я то, что другие понимают ясной верой и чему я верил дотоле как-то темно и неясно. К этому привел меня и анализ над моею собственной душой: я увидел тоже математически ясно, что говорить и писать о высших чувствах и движениях человека нельзя по воображению: нужно заключить в себе самом хотя небольшую крупницу этого, словом – нужно сделаться лучшим. Это может показаться довольно странным, особенно для тех, которые получили в юности совершенно оконченное и полное воспитание. Но надобно сказать, что я получил в школе воспитание довольно плохое, а потому и не мудрено, что мысль об учении пришла ко мне в зрелом возрасте. Я начал с таких первоначальных книг, что стыдился даже показывать и скрывал все свои занятия. Я наблюдал над собой, как учитель над учеником, не в книжном учении, но и в простом нравственном, глядя на себя самого, как на школьника. Я поместил кое-что из этих проделок над самим собою в книге моих писем, вовсе не затем, чтобы пощеголять чем-нибудь (да и не знаю, чем тут щеголять), но из желанья добра: авось кому-нибудь принесет это пользу: я был уверен, что много, подобно мне, воспитались в школе плохо и потом, подобно мне, спохватились, желая искренно себя поправить. Я часто слышал, как многие жаловались, что не могут отстать от дурных привычек, при всем желаньи своем отстать от них. Я и поместил это, кое-как приспособивши к другому, и поместил это я не иначе, как увидевши на опыте, что многое из этого уже пришло в пользу некоторым людям, которых я знал. В ответ же тем, которые попрекают мне, зачем я выставил свою внутреннюю клеть, могу сказать то, что все-таки я еще не монах, а писатель. Я поступил в этом случае так, как все те писатели, которые говорили, что было на душе. Если бы и с Карамзиным случилась эта внутренняя история во время его писательства, он бы ее также выразил. Но Карамзин воспитался в юношестве. Он образовался уже как человек и гражданин, прежде чем выступил на поприще писателя. Со мной случилось иначе. Я не считал ни для кого соблазнительным открыть публично, что я стараюсь быть лучшим, чем я есть. Я не нахожу соблазнительным томиться и стогать явно, в виду всех, желаньем совершенства, если сходил за тем сам сын божий, чтобы сказать нам всем: «Будьте совершенны так, как совершенен отец ваш небесный». Что же касается до обвинений, будто я, из желанья похвастаться смиреньем, в книге моей показал уничижение паче гордости, то на это скажу, что ни смиренья, ни уничиженья здесь нет. Пришедшие к этому заключению обманулись сходством признаков. Противным я действительно казался себе самому вовсе не от смиренья, но потому, что в мыслях моих чем далее, тем яснее представлялся идеал прекрасного человека, тот благодный образ, каким должен быть на земле человек, и мне становилось всякой раз после этого противно глядеть на себя. Это не смирение, но скорее то чувство, которое бывает у завистливого человека, который, увидевши в чужих руках вещь лучшую, бросает свою и не хочет уже глядеть на нее. Притом мне посчастливилось встретить на веку своем, и особенно в последнее время, несколько таких людей, перед душевными качествами которых показались мне мелкими мои качества, и всякий раз я негодовал на себя за то, что не имею того, что имеют другие. Тут нужно обвинять разве завистливую вообще натуру.

Но возвращаюсь к истории. Итак, на некоторое время занятием моим стал не русский человек и Россия, но человек и душа человека вообще. Всё меня приводило в это время к исследованию общих законов души нашей: мои собственные душевные обстоятельства, наконец обстоятельства внешние, над которыми мы не властны и которые всякой раз обращали меня противовольно вновь к тому же предмету, как только я от него отдалялся. Несколько раз, упрекаемый в недеятельности, я принимался за перо. Хотел насильно заставить себя напи-

сать хоть что-нибудь в роде небольшой повести или какого-нибудь литературного сочинения, и не мог произвести ничего. Усилия мои оканчивались почти всегда болезнью, страданиями и наконец такими припадками, вследствие которых нужно было надолго отложить всякое занятие. Что мне было делать? Виноват я разве был в том, что не в силах был повторять то же, что говорил или писал в мои юношеские годы? Как будто две весны бывают в возрасте человеческого! И если всяк человек подвержен этим необходимым переменам при переходе из возраста в возраст, почему же один писатель должен быть исключеньем? Разве писатель также не человек? Я не совращался с своего пути. Я шел тою же дорогою. Предмет у меня был всегда один и тот же: предмет у меня был – жизнь, а не что другое. Жизнь я преследовал в ее действительности, а не в мечтах воображения, и пришел к тому, кто есть источник жизни. От малых лет была во мне страсть замечать за человеком, ловить душу его в малейших чертах и движениях его, которые пропускаются без вниманья людьми – и я пришел к тому, который один полный ведатель души и от кого одного и мог только узнать полнее душу. Я не успокоился по тех пор, покуда не разрешились мне некоторые собственные мои вопросы относительно меня самого. И только тогда, когда нашел удовлетворенье в некоторых главных вопросах, мог приступить вновь к моему сочинению, первая часть которого составляет еще поныне загадку, потому что заключает в себе некоторую часть переходного состоянья моей собственной души, тогда как еще не вполне отделилось во мне то, чему следовало отделиться.

Как только кончилось во мне это состояние, и жажда знать человека вообще удовлетворилась, во мне родилось желанье сильное знать Россию. Я стал знакомиться с людьми, от которых мог чему-нибудь поучиться и разузнать, что делается на Руси; старался наиболее знакомиться с такими опытными практическими людьми всех сословий, которые обращены были лицом ко всяким проделкам внутри России. Мне хотелось сойтись с людьми всех сословий и от каждого что-нибудь узнать. Всякой должностной и чем-нибудь занятый человек стал в глазах моих интересен. Прежде всего я хотел определить себе всякую должность, всякое сословие, всякое место и всякое звание в государстве. Мне казалось это необходимым для писателя, который берет людей на разных поприщах. Не содержа в собственной голове своей весь долг и всю обязанность того человека, которого описываешь, не выставишь его, как следует, верно и притом так, чтобы он действительно был в урок и в поученье живущему. Из-за этого я старался завести переписку с такими людьми, которые могли мне что-нибудь сообщать. Прочих я пролил набрасывать легкие портреты и характеры, первые, какие им попадутся. Всё это было мне нужно не затем, чтобы в голове моей не было ни характеров, ни героев: их было у меня уже много; они выработались из познания природы человеческой гораздо полнейшего, чем какое было во мне прежде; но сведения эти мне, просто, нужны были, как нужны этюды с натуры художнику, который пишет большую картину своего собственного сочинения. Он не переводит этих рисунков к себе на картину, но развешивает их вокруг по стенам, затем, чтобы держать перед собою неотлучно, чтобы не погрешить ни в чем против действительности, противу времени, или эпохи, какая им взята. Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных, мне известных. Угадывать человека я мог только тогда, когда мне представлялись самые мельчайшие подробности его внешности. Я никогда не писал портрета, в смысле простой копии. Я создавал портрет, но создавал его вследствие соображенья, а не воображенья. Чем более вещей принимал я в соображенья, тем у меня верней выходило создание. Мне нужно было знать гораздо больше, сравнительно со всяким другим писателем, потому что стоило мне несколько подробностей пропустить, не принять в соображенья – и ложь у меня выступала ярче, нежели у кого другого. Этого я никак не мог объяснить никому, а потому и никогда почти не получал таких писем, каких я желал. Все только удивлялись тому, как мог я требовать таких мелочей и пустяков, тогда как имею такое воображение, которое может само творить и произ-

водить. Но воображение мое до сих пор не подарило меня ни одним замечательным характером и не создало ни одной такой вещи, которую где-нибудь не подметил мой взгляд в натуре. Я поместил в книге моей Переписка с друзьями несколько писем к помещикам и к разным должностным лицам (из них большая часть не напечатана) вовсе не затем, чтобы со мной безусловно согласились, но чтобы опровергнули меня приведением анекдотических фактов. Возраженья такого рода от людей практических и опытных для меня важны тем, что поставляют меня ближе к делу, раскрывая мне глубже внутренность России. Но вместо дел, интересных для всякого русского человека, и наших русских вопросов, занялись моей собственной личностью и исписали целые листы о том, имею ли я право мешаться в подобные дела. Я сделал в то же время воззвание ко всем читателям Мертвых душ, – воззвание несколько неприличное и не весьма ловкое. Я очень знал, что над ним многие посмеются; но я готов был выдержать всякое осмеяние, лишь бы только добиться своего. Я думал, что, может, хоть пять, шесть человек захотят исполнить мою просьбу так, как я желал. Я не требовал собственно поправок на Мертвые души: мне хотелось, под этим предлогом, добыть частных записок, воспоминаний о тех характерах и лицах, с которыми случилось кому встретиться на веку, изображений тех случаев, где пахнет Русью. Зная, что у всех нас есть какая-то лень на подъемность, на работу, вследствие которых почти всякому из нас трудно что-нибудь доставать из своей памяти, я думал, что чтение Мертвых душ может расшевелить, особенно, если и карандаш и бумага будет при этом под рукой. Я выставил свой адрес и просил прислать мне в письме только тех, которые не захотели бы печатать, но вообще я считал гораздо полезнее сделать их всеобщее известностью. Мне казалось даже необходимым и в нынешнее время это распространение известий о России посредством живых фактов, потому что в это время, которое недаром называют переходным, почти у всякого человека, на всех поприщах, заметно стремление преобразовывать, поправлять, исправлять и вообще торопиться средствами противу всякого зла. Я думал, что теперь более, чем когда-либо, нужно нам обнаружить внаружу всё, что ни есть внутри Руси, чтобы мы почувствовали, из какого множества разнородных начал состоит наша почва, на которой мы все стремимся сеять, и лучше бы осмотрелись прежде, чем произносить что-либо так решительно, как ныне все произносят. Я питал втайне надежду, что чтение Мертвых душ наведет некоторых на мысль писать свои собственные записки, что многие почувствуют даже некоторое обращение на самих себя, потому что и в самом авторе, в то время, когда писаны были Мертвые души, произошло некоторое обращение на самого себя. Я думал, что тот, кто уже находится на склоне дней своих и тревожим мыслью, что жизнь его протекла без пользы, и он сделал мало для общего добра земли своей, почувствует сильнее, что верным и живым изображением людей, характеров и случаев своего времени он может познакомить с Русью людей молодых и начинающих действовать и таким образом больше чем вознаградит прекрасно за свою недеятельность. Молодой же, тот, кто вступает еще на поприще, кто еще ни к чему не охладел и потому имеет живость взгляда, кого любопытно занимает всё, может изобразить эпоху современную, как она представляется молодым глазам юноши. Словом, я думал, как дитя; я обманулся некоторыми: я думал, что в некоторой части читателей есть какая-то любовь. Я не знал еще тогда, что мое имя в ходу только затем, чтобы попрекнуть друг друга и посмеяться друг над другом. Я думал, что многие сквозь самый смех слышат мою добрую натуру, которая смеялась вовсе не из злобного желанья. Но на мое приглашение я не получил записок; в журналах мне отвечали насмешками. Привожу всё это затем, чтобы показать, как я употреблял все силы держаться на своем поприще и придумывал все средства, которые могли двинуть мою работу, не имея и в мыслях оставлять звание писателя. Не могу не заметить при этом случае, что многие изъявляли изумление тому, что я так желаю известий о России и в то же время сам остаюсь вне России, не соображая того, что, кроме болезненного состояния моего здоровья, потребовавшего теплого климата, мне нужно было это удаление от России затем, чтобы пребывать живее мыслью в России. Для «тех», которые не могут этого почувствовать, объяснюсь,

хотя мне несколько трудно объясняться во всем том, что составляет свойства, собственно мне принадлежащие. Почти у всех писателей, которые не лишены творчества, есть способность, которую я не назову воображеньем, способность представлять предметы отсутствующие так живо, как бы они были пред нашими глазами. Способность эта действует в нас только тогда, когда мы отделимся от предметов, которые описываем. Вот почему поэты большею частию избирали эпоху, от нас отделившуюся, и погружались в прошедшее. Прошедшее, отрывая нас «от» всего, что ни есть вокруг нас, приводит душу в то тихое, спокойное настроение, которое необходимо для труда, У меня не было влеченья к прошедшему. Предмет мой была современность и жизнь в ее нынешнем быту, может быть, оттого, что ум мой был всегда наклонен к существенности и к пользе, более осязательной. Чем далее, тем более усиливалось во мне желание быть писателем современным. Но я видел в то же время, что, изображая современность, нельзя находиться в том высоко настроенном и спокойном состоянии, какое необходимо для произведения большого и стройного труда. Настоящее слишком живо, слишком шевелит, слишком раздражает; перо писателя нечувствительно и незаметно переходит в сатиру, притом, находясь сам в ряду других и более или менее действуя с ними, видишь перед собою только тех человек, которые стоят близко от тебя; всей толпы и массы не видишь, оглянуть всего не можешь. Я стал думать о том, как бы выбраться из ряду других и стать на такое место, откуда бы я мог увидеть всю массу, а не людей только, возле меня стоящих, – как бы, отделившись от настоящего, обратить его некоторым образом для себя в прошедшее. Мое расстроившееся здоровье и вместе с ним маленькие неприятности, которые я бы теперь перенес легко, но которых тогда не умел еще переносить, заставили меня подняться в чужие края. Я никогда не имел влеченья и страсти: к чужим краям. Я не имел также того безотчетного любопытства, которым бывает снедаем юноша, жадный впечатлений. Но, странное дело, даже в детстве, даже во время школьного ученья, даже в то время, когда я помышлял только об одной службе, а не о писательстве, мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвование и что, именно для службы моей отчизне, я должен буду воспитаться где-то вдали от нее. Я не знал, ни как это будет, ни почему это нужно; я даже не задумывался об этом, но видел самого себя так живо в какой-то чужой земле тоскующим по своей отчизне, картина эта так часто меня преследовала, что я чувствовал от нее грусть. Может быть, это было, просто, то непонятное поэтическое влечение, которое тревожило иногда и Пушкина, ехать в чужие: края, единственно затем, чтобы, по выраженью его,

Под небом Африки моей
Вздыхать о сумрачной России.

Как бы то ни было, но это противувольное мне самому влечение было так сильно, что не прошло пяти месяцев по прибытии моем в Петербург, как я сел уже на корабль, не будучи в силах противиться чувству, мне самому непонятному. Проект и цель моего путешествия были очень неясны. Я знал только то, что еду вовсе не затем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорей, чтобы натерпеться, точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России и добуду любовь к ней вдали от нее. Едва только я очутился в море, на чужом корабле, среди чужих людей (пароход был аглицкий, и на нем ни души русской), мне стало грустно; мне сделалось так жалко друзей и товарищей моего детства, которых я оставил и которых я всегда любил, что прежде, чем вступить на твердую землю, я уже подумал о возврате. Три дни только я пробыл в чужих краях и, несмотря на то, что новость предметов начала меня завлекать, я поспешил на том же самом пароходе возвратиться, боясь, что иначе мне не удастся возвратиться. С тех пор я дал себе слово не питать и мысли о чужих краях, и точно, во все время пребывания моего в Петербурге, в продолжение целых семи лет не приходили мне никогда на

мысли чужие края, покамест обстоятельства моего здоровья, некоторые огорчения и наконец потребность большего уединения не заставили меня оставить Россию.

Два раза я возвращался потом в Россию, один раз даже с тем, чтобы в ней остаться навсегда. Я думал, что теперь особенно, получивши такую страсть узнавать всё, я в силах буду узнать многое. Но, странное дело, среди России я почти не увидел России. Все люди, с которыми я встречался, большею частью любили поговорить о том, что делается в Европе, а не в России. Я узнавал только то, что делается в аглицком клубе, да кое-что из того, что я и сам уже знал. Известно, что всякой из нас окружен своим кругом близких знакомых, из-за которого трудно ему увидеть людей посторонних. Во-первых, уже потому, что с близкими обязан быть чаще, а во-вторых, потому, что круг друзей так уже сам по себе приятен, что нужно иметь слишком много самоотверженья, чтобы из него вырваться. Все, с которыми мне случилось познакомиться, наделяли меня уже готовыми выводами, заключениями, а не просто фактами, которых я искал. Я заметил вообще некоторую перемену в мыслях и умах. Всяк глядел на вещи взглядом более философическим, чем когда-либо прежде, во всякой вещи хотел увидеть ее глубокий смысл и сильнейшее значение, – движенье, вообще показывающее большой шаг общества вперед. Но с другой стороны, от этого произошла торопливость делать выводы и заключения из двух, трех фактов о всем целом и беспрестанная позабывчивость того, что не все вещи и не все стороны соображены и взвешены. Я заметил, что почти у всякого образовывалась в голове своя собственная Россия, и оттого бесконечные споры. Мне нужно было не того, мне нужно было просто таких бесед, как бывали в старину, как всяк рассказывал только то, что видел, слышал на веку, и разговор казался собранием анекдотов, а не рассуждением. Это мне нужно было уже и потому, что я и сам начинал невольно заражаться этой торопливостью заключать и выводить, всеобщим поветрием нынешнего времени.

Провинции наши меня еще более изумили. Там даже имя Россия не раздается на устах. Раздавалось, как мне показалось, на устах только то, что было прочитано в новейших романах, переведенных с французского. Словом – во всё пребыванье мое в России Россия у меня в голове рассеивалась и разлеталась. Я не мог никак ее собрать в одно целое; дух мой упал, и самое желанье знать ее ослабевало. Но как только я выезжал из нее, она совокуплялась вновь в моих мыслях целой, желанье знать ее пробуждалось во мне вновь, и охота знакомиться со всяким свежим человеком, недавно выехавшим из России, становилась вновь сильна. Во мне рождалось даже уменье выспрашивать, и часто в один час разговора я узнавал то, чего не мог, живя в России, узнать в продолжение недели. Всякий знает, что за границей знакомства делаются гораздо легче, что на водах в Германии и на зимовьях в Италии сходятся люди, которые, может быть, не столкнулись бы никогда внутри земли своей и оставались бы век незнакомыми. Вот что заставило меня предпочесть пребыванье вне России, даже и в отношении «к тому, чтобы побольше слышать о России. Я очень долго думал о том, каким бы образом узнать многое, делающееся в России, живя в России. Разъездами по государству немного возьмешь, останутся в голове только станции да трактиры. Знакомства и в городах и деревнях тоже довольно трудны для разъезжающего не по казенной надобности, могут принять за какого-нибудь шпиона, и приобретешь разве только сюжет для комедии, которой имя бестолковщина. Если ж узнают, что разъезжающий есть и писатель вместе, тогда положение еще смешнее: половина читающей России уверена сурьезно, что я живу единственно для осмеянья всего, что ни есть в человеке, от головы до ног. А между тем никогда еще до сих пор не чувствовал «я» так сильно потребность знать современное состояние нынешнего русского человека, – тем более, что теперь так разошлись все в образах мыслей, так вихорь недоразумений обуял всех, что никто не в силах судить верно друг друга, и нужно как бы щупать собственною рукою всякую вещь, не доверяя никому. Я не мог быть без этих сведений. Ныне избранные характеры и лица моего сочичи-

не»ния крупнейшей прежних. Чем выше достоинство взятого лица, тем ощутительней, тем осязательней нужно выставить его перед читателем. Для этого нужны все те бесчисленные мелочи и подробности, которые говорят, что взятое лицо действительно жило на свете. Иначе оно станет идеальным: будет бледно и, сколько ни навяжи ему добродетелей, будет всё ничтожно. Нужно, чтобы русский читатель действительно почувствовал, что выведенное лицо взято именно из того самого тела, с которого создан и он сам, что это живое и его собственное тело. Тогда только сливается он сам с своим героем и нечувствительно принимает от него те внушения, которых никаким рассуждением и никакою проповедью не внушишь. Это полное воплощение в плоть, это полное округление характера совершалось у меня только тогда, когда я заберу в уме своем весь этот прозаический существенный дрязг жизни, когда, держа в голове все крупные черты характера, соберу в то же время вокруг его всё тряпье до малейшей булавки, которое кружится ежедневно вокруг человека, словом – когда соображу всё от мала до велика, ничего не пропустивши. У меня в этом отношении ум тот самый, какой бывает у большей части русских людей, то есть способный больше выводить, чем выдумывать. Мне всегда нужно было выслушать слишком много людей, чтобы образовалось во мне собственное мое мнение, и тогда только мое мнение находили здравым и умным. Когда же я не всех выслушаю и потороплюсь выводом, оно выходило только резко и необыкновенно. Даже в нынешней моей книге: Переписка с друзьями, в которой многое походит на одни предположения, собственно предположений нет. В ней всё выводы; но дело в том, что одни выводы взяты из всех сторон дела и потому всем ясны, другие из некоторых, не всем известных, и потому темны, а для многих кажутся даже и вовсе нелепицей. Вот отчего в редком моем сочинении не встречается рядом и зрелость и незрелость, и муж и ребенок, и учитель и ученик.

Итак, всего того, что мне нужно, я не мог достать. А не доставши его, мудрено ли, что я не мог работать? Как воевать с собою, если сделался требователен к самому себе? Как полететь воображеньем, если б оно и было, если рассудок на всяком шагу задает вопрос: зачем? Зачем случились многие такие обстоятельства, которых я не призывал? Зачем мне определено было не иначе приобрести познание души человека, как произведя строгий анализ над собственной душою? Зачем желаньем изобразить русского человека я возгорелся не прежде, как узнавши получше общие законы действий человеческих, а узнал их не прежде, как пришедши к тому, кто один ведатель и действий человеческих и всех малейших наших душевных тайн?.. Зачем жажда знать душу человека так томила меня? Зачем, наконец, были такие обстоятельства, о которых я не могу даже сказать, но которые заставляли меня, против воли моей собственной, входить глубже в душу человека? Зачем венцом всех эстетических наслаждений во мне осталось свойство восхищаться красотой души человека везде, где бы я ее ни встретил? Зачем жажда знать душу человека так томила меня постоянно от дней моей юности? Определите мне прежде, зачем всё это произошло, и тогда спрашивайте: зачем я не могу писать того, что писал? Я старался действовать наперекор обстоятельствам и этому порядку, не от меня начертанному. Я пробовал несколько раз писать по-прежнему, как писалось в молодости, то есть как попало, куда ни поведет перо мое; но ничто не лилось на бумагу. Обрадовавшись тому, что расписался кое-как в письмах к моим знакомым и друзьям, я захотел тотчас же из этого сделать употребление, и едва только оправился от тяжелой болезни моей, как составил из них книгу, постаравшись дать ей какой-то порядок и последовательность, «чтобы она походила на дельную книгу, не размысливши того, что многое, обращенное к некоторым, общество примет на свой «счет», особенно после завещанья, обращенного к лицу всех соотечественников. Я боялся сам рассматривать» ее недостатки, а почти закрыл глаза на нее, зная, что если рассмотрю я построже мою книгу, может, она будет так же уничтожена, как я уничтожал Мертвые души и как уничтожал всё, что ни писал в последнее время. Я думал, что этой книгой я хоть сколько-нибудь заплачу за долгое мое молчание, введу и объясню мое трудное положение,

почему я не мог писать в это время, обращу внимание на практическое и на дело жизни. Я думал вслед ее заговорить о том, что раскроет предо мною побольше Русь, освежит, оживит меня и заставит меня взяться за перо. Не тут-то было: всё обрушилось на меня упреками. Я услышал только толки о том, что не решается толками. Руки мои опустились. Порыв, который, мне показалось, начал было во мне пробуждаться, погас, и я нечувствительно сам собой пришел теперь к тому вопросу, который я до сих пор и не думал еще задавать в себе: должен ли я в самом деле писать? должен ли я оставаться на этом поприще, от которого в последнее время так явно меня всё отвлекало? Положим, если бы даже я в силах был как-нибудь победить «себя», перо мое получило бы беглость и страницы полились непринужденно одна за другую – таково ли душевное состояние мое, чтобы сочиненья мои были действительно в это время полезны и нужны нынешнему обществу? Бросим взгляд на нынешнее состояние общества, благоприятно ли нынешнее время для писателя вообще и вслед за тем для такого писателя, как я?

Все более или менее согласились называть нынешнее время переходным. Все, более чем когда-либо прежде, ныне чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани, не на ночлеге, не на временной станции или отдыхе. Всё чего-то ищет, ищет уже не вне, а внутри себя. Вопросы нравственные взяли перевес и над политическими, и над учеными, и над всякими другими вопросами. И меч и гром пушек не в силах занимать мир. Везде обнаруживается более или менее мысль о внутреннем строении: всё ждет какого-то более стройнейшего порядка. Мысль о строении как себя, так и других делается общею. Со всеми замечательными, стоящими впереди других людьми случились какие-нибудь душевные внутренние перевороты, с иными даже в такие годы, в какие никогда невозможны были доселе перемены в человеке и улучшения. Всяк более или менее чувствует, что он не находится в том именно состоянии своем, в каком должен быть, хотя и не знает, в чем именно должно состоять это желанное состояние. Но это желанное состояние ищется всеми; уши всех чутко обращены в т<у> сторон<у>, где думают услышать хоть что-нибудь о вопросах, всех занимающих. Никто не хочет читать другой книги, кроме той, где может содержаться хотя намек на эти вопросы. Надобны ли в это время сочинения такого писателя, который одарен способностью творить, создавать живые образы людей и представлять ярко жизнь в том виде, как она представляется ему самому, мучимому жаждой знать ее? Определим себе прежде, что такое тот писатель, которого главный талант состоит в творчестве.

Все более или менее согласны в том, что писатель-творец творит творенье свое в поученье людей. Требования от него слишком велики – и справедливо: для того, чтобы передавать одну верную копию с того, что видим перед глазами, есть также другие писатели, одаренные иногда в высшей степени способностью живописать, но лишенные способности творить. Но кто создает, кто трудится над этим долго, кому приходится дорого его создание, тот должен уже потрудиться не даром. Нужно, чтобы в создании его жизнь сделала какой-нибудь шаг вперед и чтобы он, постигнувши современность, ставши в уровень с веком, умел обратно воздать ему за наученье себя наученьем его. Так, по крайней «мере», определяют поэтов и вообще писателей, наделенных творчеством, эстетики как нынешнего времени, так и прежних времен. Возвратить людей в том же виде, в каком и взял, для писателя-творца даже невозможно: это дело сделает лучше его тот, кто, владея беглою кистью, может рисовать всякую минуту всё, что проходит пред его глазами, не мучимый и не тревожимый внутри ничем.

Стало быть, в нынешнее время, когда все так заняты вопросом жизни, такой писатель может, более чем кто-либо другой, быть разрешителем современных вопросов; но когда и в каком случае? В таком случае и тогда, когда уж он всё разрешил себе, что ни тревожит его самого. Если он, при всех великих дарах, при картинной живописи слова, при орлиной силе взгляда, при возносящей силе лиризма и поражающей силе сарказма, и приобретет полное

познание земли своей и своего народа в корне и в ветвях, воспитается как гражданин своей земли и как гражданин всего человечества, и как кремень станет во всем том, в чем повелено быть крепку скале – человеку, тогда он выступай на поприще. Владея такими средствами, орудьями, станет подавать он обществу людей, потребных ему в нынешнее время, в современную эпоху и оденет их портретною живостью, которая делает <то, что> изображенный образ преследует нас повсюду так, что нельзя и оторваться. Разумеет<ся>, что с такими средствами ему ничего не будет стоить выгнать из голов всех тех героев, которых напустили туда модные писатели. Заговори только с обществом, наместо самых жарких рассуждений, этими живыми образами, которые, как полные хозяева, входят в души людей, и двери сердец растворятся сами навстречу к принятию их, если только почувствуют, хоть каплю почувствуют, что они взяты из нашей природы, из того же тела. Тогда, разумеется, кто может подействовать ныне сильней такого писателя, и кто может быть более его нужным нынешнему времени и нынешней эпохе? Но если он, имея действительно некоторые из тех орудий, сам еще не воспитался так, как гражданин земли своей и гражданин всемирный, если он, покорный общему нынешнему влечению всех, сам еще строится и создается, тогда ему даже опасно выходить на поприще: его влияние может быть скорей вредно, чем полезно. Это строение себя самого непременно обнаруживается во всем, что ни будет выходить из-под пера его. Чем он сам менее похож на других людей, чем он необыкновеннее, чем отличное от других, чем своеобразнее, тем больше может произвести всеобщих заблуждений и недоразумений. То, что в нем есть не более, как естественное явление, законный ход его необыкновенного организма, состоянье временное<ое> духа, может показать<ся> другим людям верховною точкою, до которой следует всем дойти. Чем больше одушевится он любовью к героям и лицам своим, чем больше отделает, чем с большею живостью выставит их, тем больше вреда. Пример тому в глазах наших. Известная французская писательница, больше всех других наделенная талантами, в немного лет произвела сильнее изменение в нравах, чем все писатели, заботившиеся о развращении людей. Она, может быть, и в помышлении не имела проповедовать разврат, а обнаружила только временное заблуждение свое, от которого потом, может быть, и отказалась, переступивши в другую эпоху своего состояния душевного. А слово уже брошено. Слово как воробей, говорит наша пословица, выпустивши его, не схватишь потом. Я сам писатель, не лишенный творчества; я владею также некоторыми из тех даров, которые способны увлекать. Покорный, общему стремлению, которое не от нас, но совершается по воле того <...>, [помышляю я] о своем собственном строе<нии>, как помышляют и другие. Я чувствую, что и теперь нахожусь далеко от того, к чему стремлюсь, а потому не должен выступать. Самая вышедшая книга Переписка с друзьями служит тому доказательством. Если и эта книга, которая не более, как рассуждение, говорят, неопределительностью своею производит заблуждения, распространяет даже ложные мысли; если и из этих писем, говорят, остаются в голове, как живые картины, целиком фразы и страницы, – что же было, если бы я выступил <с> живыми образами повествовательного сочинения наместо этих писем? Я сам слышу, что я тут гораздо сильней, чем в рассуждениях. Теперь еще может меня оспаривать критика, а тогда вряд ли бы в силах был меня кто опровергнуть. Образы мои были соблазнительны и так бы заст<ряли> крепко в головы, что критика бы их оттуда не вытащила. Не нужно упускать того из виду, <что> все выставленные лица и характеры должны были доказать истину моих собственных убеждений. Как сравню эту книгу с уничтоженными мною Мертвыми душами, не могу <не> возблагодарить за насланное мне внушение <их> уничтожить. В книге моих писем я всё-таки стою на высшей точке, нежели в уничтоженных Мертвых душах. Темнота выражения во многих местах сбивает только читателя, но если бы пояснее выразил ту же самую мысль, со мною бы многие перестали спорить. В уничтоженных Мертвых душах гораздо больше выражалось моего переходного состояния, гораздо меньшая определенность в главных основаниях и мысль двигательней, а уже много увлекательности в частях, и герои были соблазнительны. Словом – как честный <человек>, я должен бы оставить перо,

даже и тогда, если бы действительно почувствовал позыв к нему. На это дело следует взглянуть благоразумно. Все те, которые легкомысленно требуют от меня продолжения писать и в то же время бранят мою нынешнюю книгу, должны по крайней мере рассмотреть поближе всё это дело и не пропустить всех тех обстоятельств, которых не пропускает никакой судья, если только произносит над кем-либо суд свой. Мне кажется, что теперь не только тот, кто пишет, но всякой ум вообще, если только наклонен к тому, чтобы делать выводы и заключения, а сам в то же время еще <...>, должен удержаться от деятельности. Из людей умных должны выступать на поприще только те, которые кончили свое воспитанье и создались как граждане земли своей, а из писателей только такие, которые, любя Россию так же пламенно, как тот, который дал себе название Луганского козака, умеют по следам его живописать природу, как она есть, не скрывая ни дурного, ни хорошего в русском и руководствуясь единственно желаньем ввести всех в действительное положение русского человека.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.